Булгаков Михаил

Записки на манжетах

Часть первая

Плавающим, путешествующим
и страждущим писателям русским

I

Сотрудник покойного «Русского слова»[1], в гетрах и с сигарой, схватил со стола телеграмму и привычными профессиональными глазами прочел ее в секунду от первой строки до последней.

Его рука машинально выписала сбоку: «В 2 колонки», но губы неожиданно сложились дудкой:

— Фью-ю!

Он помолчал. Потом порывисто оторвал четвертушку и начертал:

До Тифлиса сорок миль...

Кто продаст автомобиль?

Сверху: «Маленький фельетон», сбоку: «Корпус», снизу: «Грач».

И вдруг забормотал, как диккенсовский Джингль[2]:

— Тэк-с. Тэк-с!.. Я так и знал!.. Возможно, что придется отчалить. Ну, что ж! В Риме у меня шесть тысяч лир. Credito Italiano[3]. Что? Шесть... И в сущности, я — итальянский офицер! Да-с! Finita la comedia![{1}]

И, еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь — с телеграммой и фельетоном.

— Стойте! — завопил я, опомнившись. — Стойте! Какое Credito? Finita?! Что? Катастрофа[4]?!

Но он исчез.

Хотел выбежать за ним... но внезапно махнул рукой, вяло поморщился и сел на диванчик. Постойте, что меня мучит? Credito непонятное? Сутолока? Нет, не то... Ах да! Голова! Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту — наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман[5]! Лишь бы не заболеть!.. Лишь бы не заболеть!..

Чужое все, но, значит, я привык за полтора месяца. Как хорошо после тумана! Дома. Утес и море в золотой раме. Книги в шкафу. Ковер на тахте шершавый, никак не уляжешься, подушка жесткая, жесткая... Но ни за что не встал бы. Какая лень! Не хочется руку поднять. Вот полчаса уже думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок с аспирином, и все не протяну...

— Мишуня, поставьте термометр!

— Ах, терпеть не могу!.. Ничего у меня нет...

Боже мой, Боже мой, Бо-о-же мой! Тридцать восемь и девять... да уж не тиф ли, чего доброго[6]? Да нет. Не может быть! Откуда?! А если тиф?! Какой угодно, но только не сейчас! Это было бы ужасно[7]... Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюэнца. Вот на ночь приму аспирин и завтра встану как ни в чем не бывало!

Тридцать девять и пять!

— Доктор, но ведь это не тиф? Не тиф? Я думаю, это просто инфлюэнца? А? Этот туман...

— Да, да... Туман. Дышите, голубчик... Глубже... Так!..

— Доктор, мне нужно по важному делу... Ненадолго. Можно?

— С ума сошли!..

Пышет жаром утес, и море, и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего... и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! И в случае чего — еду! Еду! Не надо распускаться! Пустячная инфлюэнца... Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы все забылось. Полежать, отдохнуть, но только, храни Бог, не сейчас!.. В этой дьявольской суматохе некогда почитать... А сейчас так хочется... Что бы такое? Да. Леса и горы. Но не эти, проклятые, кавказские. А наши, далекие... Мельников-Печерский. Скит[8] занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится... Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полок. Вмиг полегчало бы... А потом — голым кинуться в сугроб... Леса! Сосновые, дремучие... Корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже... Какое хорошее, солидное, государственное слово. — по-не-же! Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит. И хор монашек поет нежно и складно:

Взбранной Воеводе победительная[9]!..

Ах нет! Какие монашки! Совсем их там нет! Где бишь монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские[10]?..

— Ла-риса Леонтьевна[11], где мо-наш-ки?!

— ...Бредит... бредит, бедный!..

— Ничего подобного. И не думаю бре-дить. Монашки! Ну что вы, не помните, что ли? Ну, дайте мне книгу. Вон, вон с третьей полки. Мельников-Печерский...

— Мишуня, нельзя читать!..

— Что-с? Почему нельзя? Да я завтра же встану! Иду к Петрову. Вы не понимаете. Меня бросят[12]! Бросят!

— Ну хорошо, хорошо, встанете! Вот книга.

Милая книга. И запах у нее старый, знакомый. Но строчки запрыгали, запрыгали, покривились. Вспомнил. Там, в скиту, фальшивые бумажки делали, романовские. Эх, память у меня была! Не монашки, а бумажки...

Сашки, канашки мои!..

— Лариса Леонтьевна... Ларочка! Вы любите леса и горы? Я в монастырь уйду. Непременно! В глушь, в скит. Лес стеной, птичий гомон, нет людей... Мне надоела эта идиотская война! Я бегу в Париж, там напишу роман, а потом в скит. Но только завтра пусть Анна разбудитменя в восемь. Поймите, еще вчера я должен был быть у него[13]... Пой-мите!

— Понимаю, понимаю, молчите!

Туман. Жаркий красноватый, туман. Леса, леса... и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нужно доползти. А там, напьешься — и снимет как рукой! Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза, открыть — вовсе не хвоя, а простыня.

— Гос-по-ди! Что это за простыня... Песком, что ли, вы ее посыпали?.. Пи-ить!

— Сейчас, сейчас!..

— А-ах, теплая, дрянная!

— ...ужасно. Опять сорок и пять!

— ...пузырь со льдом...

— Доктор! Я требую... немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России... Если не отправите, извольте дать, мне мой бра... браунинг! Ларочка-а! Достаньте!..

— Хорошо, Хорошо, Достанем. Не волнуйтесь!..

Тьма. Просвет. Тьма... просвет. Хоть убейте, не помню...

Голова! Голова! Нет монашек, взбранной воеводе, а демоны трубят и раскаленными крючьями рвут, череп. Го-ло-ва!..

Просвет... тьма. Просв… нет, уже больше нет! Ничего не ужасно, и все — все равно. Голова не болит. Тьма и сорок один и одна[14] ....

....

II. ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?!

Беллетрист Юрий Слезкин[15] сидел в шикарном, кресле. Вообще все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Твеном мальчишкина голова (яйцо, посыпанное перцем). Френч, молью обгрызенный, и под мышкой — дыра. На ногах — серые обмотки. Одна — длинная, другая — короткая. Во рту — двухкопеечная трубка. В глазах — страх с тоской в чехарду играют.

— Что же те-перь бу-дет с на-ми? — спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут.

— Что? Что?

Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос:

— Сегодня ночью ингуши будут грабить город...

Слезкин дернулся в кресле и поправил:

— Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра с утра.

Нервно отозвались флаконы за стеной.

— Боже мой! Осетины?! Тогда это ужасно!

— Ка-кая разница?

— Как какая?! Впрочем, вы не знаете наших нравов. Ингуши, когда грабят, то... они грабят. А осетины — грабят и убивают...

— Всех будут убивать? — деловито спросил Слезкин, пыхтя зловонной трубочкой.

— Ах, Боже мой! Какой вы странный! Не всех... Ну, кто вообще... Впрочем, что ж это я! Забыла. Мы волнуем больного.

Прошумело платье. Хозяйка склонилась ко мне.

— Я не вол-нуюсь...

— Пустяки, — сухо отрезал Слезкин, — пустяки!

— Что? Пустяки?

— Да это... Осетины там и другое. Вздор, — он выпустил клуб дыма.

Изнуренный мозг вдруг запел:

Мама! Мама! Что мы будем делать[16]?!

— В самом деле. Что мы бу-дем де-лать?

Слезкин усмехнулся одной правой щекой. Подумал. Вспыхнуло вдохновение.

— Подотдел искусств откроем[17]!

— Это... что такое?

— Что?

— Да вот... подудел?

— Ах нет. Под-от-дел!

— Под?

— Угу!

— Почему под?

— А это... Видишь ли, — он шевельнулся, — есть отнаробраз[18] или обнаробраз. От. Понимаешь? А у него подотдел. Под. Понимаешь?!

— Наро-браз. Дико-браз. Барбюс. Барбос.

Взметнулась хозяйка.

— Ради Бога, не говорите с ним! Опять бредить начнет...

— Вздор! — строго сказал Юра. — Вздор! И все эти мингрельцы, имери[19]... Как их? Черкесы. Просто дураки!

— Ка-кие?

— Просто бегают. Стреляют. В луну. Не будут грабить...

— А что с нами? Бу-дет?

— Пустяки. Мы откроем...

— Искусств?

— Угу! Все будет. Изо. Лито. Фото. Тео.

— Не по-ни-маю.

— Мишенька, не разговаривайте! Доктор...

— Потом объясню! Все будет! Я уж заведовал. Нам что? Мы аполитичны. Мы — искусство!

— А жить?

— Деньги за ковер будем бросать!

— За какой ковер?..

— Ах, это у меня в том городишке, где я заведовал, ковер был на стене. Мы, бывало, с женой, как получим жалование, за ковер деньги бросали. Тревожно было. Но ели. Ели хорошо. Паек.

— А я?

— Ты завлито будешь. Да.

— Какой?

— Мишуня! Я вас прошу!..

III. ЛАМПАДКА

Ночь плывет. Смоляная, черная. Сна нет. Лампадка трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют. А мозг горит. Туманится.

Мама! Мама!! Что мы будем делать?!

Строит Слезкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито. Тео. Тео. Изо. Лизо. Тизо. Громоздит фотографические ящики. Зачем? Лито — литераторы. Несчастные мы! Изо. Физо. Ингуши сверкают глазами, скачут на конях. Ящики отнимают. Шум. В луну стреляют. Фельдшерица колет ноги камфарой: третий приступ!..

— О-о! Что же будет?! Пустите меня! Я пойду, пойду, пойду...

— Молчите, Мишенька, милый, молчите!

После морфия исчезают ингуши. Колышется бархатная ночь. Божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом:

— Ма-а-ма. Ма-а-ма!

IV. ВОТ ОН — ПОДОТДЕЛ

Солнце. За колесами пролеток — пыльные облака... В гулком здании ходят, выходят... В комнате, на четвертом этаже, два шкафа с оторванными дверцами, колченогие столы. Три барышни с фиолетовыми губами — то на машинках громко стучат, то курят.

С креста снятый, сидит в самом центре писатель[20] и из хаоса лепит подотдел. Тео. Изо. Сизые актерские лица лезут на него. И денег требуют.

После возвратного — мертвая зыбь. Пошатывает и тошнит. Но я заведываю. Зав. Лито. Осваиваюсь.

— Завподиск[21]. Наробраз. Литколлегия.

Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются. Как миноноска, режет воду. На кого ни глянет — все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням — ничего! Барышням — страх не свойствен.

Подошел. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа — кристалл!

Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно.

— Завлито?

— Зав. Зав.

Пошел дальше. Парень будто ничего. Но не поймешь, что он у нас делает. На Тео не похож. На Лито тем более.

Поэтесса пришла. Черный берет. Юбка на боку застегнута и чулки винтом. Стихи принесла.

Та, та, там, там.

В сердце бьется динамо-снаряд.

Та, та, там.

Стишки — ничего. Мы их... того... как это... в концерте прочитаем.

Глаза у поэтессы радостные. Ничего барышня. Но почему чулки не подвяжет?

V. КАМЕР-ЮНКЕР ПУШКИН

Все было хорошо. Все было отлично.

И вот пропал из-за Пушкина, Александра Сергеевича, царствие ему небесное!

Так было дело:

В редакции, под винтовой лестницей, свил гнездо цех местных поэтов. Был среди них юноша в синих студенческих штанах, та, с динамо-снарядом в сердце, дремучий старик, на шестидесятом году начавший писать стихи, и еще несколько человек.

Косвенно входил смелый, с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе[22]. Он первый свое, напоенное чернилами, перо вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трэк — в бывшее летнее собрание. Под неумолчный гул мутного Терека он проклял сирень и грянул:

Довольно пели вам луну и чайку!

Я вам спою чрезвычайку!!

Это было эффектно!

Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском. И обоих стер с лица земля. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. И посулил о нем специальный доклад. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу[23]. За белые штаны, за «вперед гляжу я без боязни[24]», за камер-юнкерство и холопскую стихию вообще, за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами…

Обливаясь потом, в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине в клочья белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми! Улыбка не воробей?

— Выступайте оппонентом!

— Не хочется.

— У вас нет гражданского мужества.

— Вот как? Хорошо, я выступлю.

И я выступил, чтоб меня черти взяли[25]! Три дня и три ночи готовился. Сидел у открытого окна, у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами.

...ложная мудрость мерцает и тлеет[26]

Пред солнцем бессмертным ума...

Говорил Он:

...клевету приемли равнодушно[27].

Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил черной ночи.

И показал! Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное, веселое:

— Дожми его! Дожми!

....

Но зато потом!! Но потом...

Я — «волк в овечьей шкуре». Я — «господин». Я «буржуазный подголосок»...

....

Я — уже не завлито. Я — не завтео. Я — безродный пес на чердаке. Скорчившись сижу. Ночью позвонят — вздрагиваю[28].

....

О, пыльные дни! О, душные ночи!..

И было в лето от Р. Х. 1920-е из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со старушечьим морщинистым лицом, приехал и отрекомендовался: дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на прейскурант вин. В книжечке — его стихи.

Ландыш. Рифма: гадыш.

С ума сойду я, вот что!..

Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда[29]. Дебоширит на страницах газеты (4-я полоса, 4-я колонка). Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит! Но тому что! Он там, идеже несть[30]...

А я пропаду, как червяк.

VI. БРОНЗОВЫЙ ВОРОТНИК

Что это за проклятый город Тифлис!

Второй приехал! В бронзовом воротничке. В брон-зо-вом. Так и выступал в живом журнале. Не шучу я!!

В бронзовом, поймите!.........................

....

Беллетриста Слезкина выгнали к черту[31]. Несмотря на то, что у него всероссийское имя и беременная жена. А этот сел на его место. Вот тебе и изо, мизо. Вот тебе и деньги за ковер.

....

VII. МАЛЬЧИКИ В КОРОБКЕ

Луна в венце. Мы с Юрием сидим на балконе и смотрим в звездный полог. Но нет облегчения. Через несколько часов погаснут звезды, и над нами вспыхнет огненный шар. И опять, как жуки на булавках, будем подыхать[32]...

Через балконную дверь слышен непрерывный тоненький писк. У черта на куличках, у подножия гор, в чужом городе, в игрушечно-зверино-тесной комнате, у голодного Слезкина родился сын. Его положили на окно в коробку с надписью:

«M-ME MARIE. MODES ET ROBES"{2}

И он скулит в коробке.

Бедный ребенок!

Не ребенок. Мы бедные!

Горы замкнули нас. Спит под луной Столовая гора. Далеко, далеко, на севере, бескрайние равнины... На юг — ущелья, провалы, бурливые речки. Где-то на западе — море. Над ним светит Золотой Рог[33]...

...Мух на tangle-foot'e{3} видели?!

Когда затихает писк, идем в клетку.

Помидоры. Черного хлеба не помногу. И араки[34]. Какая гнусная водка! Мерзость! Но выпьешь, и — легче.

И когда все кругом мертво спит, писатель читает мне свою новую повесть. Некому больше ее слушать. Ночь плывет. Кончает и, бережно свернув рукопись, кладет под подушку. Письменного стола нету.

До бледного рассвета мы шепчемся...

Какие имена на иссохших наших устах! Какие имена! Стихи Пушкина удивительно смягчают озлобленные души. Не надо злобы, писатели русские!..

....

Только через страдание приходит истина... Это верно, будьте покойны! Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт.

VIII. СКВОЗНОЙ ВЕТЕР

Евреинов приехал[35]. В обыкновенном белом воротничке. С Черного моря, проездом в Петербург.

Где-то на севере был такой город.

Существует ли теперь? Писатель смеется: уверяет, что существует. Но ехать до него долго — три года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях.

Братья писатели, в вашей судьбе[36]...

Без денег сидел. Вещи украли...

...А на другой, последний вечер, у Слезкина, в насквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич[37]. С железной стойкостью он вынес пытку осмотра. Четыре поэта, поэтесса и художник (цех) сидели чинно и впивались глазами.

Евреинов находчивый человек:

— А вот «Музыкальные гримасы»...

И, немедленно повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва... Сперва о том, как слон играл в гостях на рояли, затем влюбленный настройщик, диалог между булатом и златом[38] и, наконец, полька.

Через десять минут цех был приведен в состояние полнейшей негодности. Он уже не сидел, а лежал вповалку, взмахивал руками и стонал...

...Уехал человек с живыми глазами. Никаких гримас!..

Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один — из Керчи в Вологду, другой — из Вологды в Керчь[39]. Лезет взъерошенный Осип[40] с чемоданом и сердится:

— Вот не доедем, да и только! Натурально, не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь!

Вчера ехал Рюрик Ивнев[41]. Из Тифлиса в Москву.

— В Москве лучше.

Доездился до того, что однажды лег у канавы:

— Не встану! Должно же произойти что-нибудь!

Произошло: случайно знакомый подошел к канаве, повел и обедом накормил.

Другой поэт. Из Москвы в Тифлис.

— В Тифлисе лучше.

Третий — Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:

— Из Крыма[42]. Скверно. Рукописи у вас покупают?

— ...но денег не пла... — начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда...

Беллетрист Пильняк[43]. В Ростов, с мучным поездом, в женской кофточке.

— В Ростове лучше?

— Нет, я отдохнуть!!

Оригинал — золотые очки.

Серафимович — с севера.

Глаза усталые. Голос глухой. Доклад читает в цехе.

— Помните, у Толстого платок на палке? То прилипнет, то опять плещется. Как живой платок... Этикетку как-то для водочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул — сверху другое поставил. Подумал — еще раз перечеркнул. И так несколько раз. Но вышла фраза как кованая... Теперь пишут... Необыкновенно пишут!.. Возьмешь. Раз прочтешь. Нет! Не понял. Другой раз — то же. Так и отложишь в сторону...

Местный цех in corpore под стенкой сидит. Глаза такие, что будто они этого не понимают. Дело ихнее!

Уехал Серафимович... Антракт.

IX. ИСТОРИЯ С ВЕЛИКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

Подотдельский декоратор нарисовал Антона Павловича Чехова с кривым носом и в таком чудовищном пенсне, что издали казалось, будто Чехов в автомобильных очках.

Мы поставили его на большой мольберт. Рыжих тонов павильон, столик с графином и лампочка.

Я читал вступительную статью «О чеховском юморе»[44]. Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно. В театре — яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил: это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие. Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал:

— Чтоб их разорвало с их юмором! На Кавказ заехали, и тут голову морочат!..

Он совершенно прав, этот тульский воин. Я забился в свой любимый угол, темный угол за реквизиторской. И слышал, как из зала понесся гул. Ура! Смеются. Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник[45].

Удача! Успех! В крысиный угол прибежал Слезкин и шипел, потирая руки:

— Пиши вторую программу.

Решили после «Вечера чеховского юмора» пустить «Пушкинский вечер»[46].

Любовно с Юрием составляли программу.

— Этот болван не умеет рисовать, — бушевал Слезкин, — отдадим Марье Ивановне!

У меня тут же возникло зловещее предчувствие. По-моему, эта Марья Ивановна так же умеет рисовать, как я играть на скрипке... Я решил это сразу, как только она явилась в подотдел и заявила, что она ученица самого N. (Ее немедленно назначили заведующей Изо.) Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я промолчал.

Ровно за полчаса до начала я вошел в декораторскую и замер... Из золотой рамы на меня глядел Ноздрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жиже другой. Иллюзия была так велика, что казалось, вот он громыхнет хохотом и скажет:

— А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух!

Не знаю, какое у меня было лицо, но только художница обиделась смертельно. Густо покраснела под слоем пудры, прищурилась.

— Вам, по-видимому... э... не нравится?

— Нет. Что вы. Хе-хе! Очень... мило. Мило очень... Только вот... бакенбарды...

— Что?.. Бакенбарды? Ну, так вы, значит, Пушкина никогда не видели! Поздравляю! А еще литератор! Ха-ха! Что же, по-вашему, Пушкина бритым нарисовать?!

— Виноват, бакенбарды бакенбардами, но ведь Пушкин в карты не играл, а если и играл, то без всяких фокусов!

— Какие карты? Ничего не понимаю! Вы, я вижу, издеваетесь надо мной!

— Позвольте, это вы издеваетесь. Ведь у вашего Пушкина глаза разбойничьи!

— А-ах... та-ак!

Бросила кисть. От двери:

— Я на вас пожалуюсь в подотдел!

Что было! Что было... Лишь только раскрылся занавес и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед потемневшим залом, прошелестел первый смех. Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор! Облившись холодным потом, я начал говорить о «северном сиянии на снежных пустынях словесности российской»... В зале хихикали на бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мне:

— Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве!

Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слыхал по своему адресу такого грохота всплесков. А дальше пошло crescendo{4}.

Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта — театр выразил свое удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками: «Biss!!!»

Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как дебошир в поэзии летел с записной книжкой в редакцию...

Так я и знал?.. На столбе газета, а в ней на четвертой полосе:

ОПЯТЬ ПУШКИН!

Столичные литераторы, укрывшиеся в местном подотделе искусств, сделали новую объективную попытку развратить публику, преподнеся ей своего кумира Пушкина. Мало того, что они позволили себе изобразить этого кумира в виде помещика-крепостника (каким, положим, он и был) с бакенбардами...

И т.д.

Господи! Господи! Дай так, чтобы дебошир умер! Ведь болеют же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот кретин подведет меня под арест!..

О, чертова напудренная кукла Изо?

Кончено. Все кончено!.. Вечера запретили...

..Идет жуткая осень. Хлещет косой дождь. Ума не приложу, что ж мы будем есть? Что есть-то мы будем?!

X. ПОРТЯНКА И ЧЕРНАЯ МЫШЬ

....

Голодный, поздним вечером, иду в темноте по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет. Вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян. И бормочу.

— Александр Пушкин! Lumen coeli. Sancta rosa{5}. И как гром его угроза[47].

Я с ума схожу, что ли?! Тень от фонаря побежала. Знаю: моя тень. Но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили добрые люди и парашу из него сделали. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть издохну. Отчаяние. Над головой портянка, в сердце черная мышь...

XI. НЕ ХУЖЕ КНУТА ГАМСУНА[48]

Я голодаю[49]. ....

....

....

XII. БЕЖАТЬ, БЕЖАТЬ!

— Сто тысяч... У меня сто тысяч!..

Я их заработал!

Помощник присяжного поверенного, из туземцев, научил меня. Он пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал:

— У меня тоже нет денег. Выход один — пьесу нужно написать. Из туземной жизни. Революционную. Продадим ее...

Я тупо посмотрел на него и ответил:

— Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их быта. И вообще, я ничего не могу писать. Я устал, и, кажется, у меня нет способности к литературе.

Он ответил:

— Вы говорите пустяки. Это от голоду. Будьте мужчиной. Быт — чепуха! Я насквозь знаю быт. Будем вместе писать. Деньги пополам.

С того вечера мы стали писать[50]. У него была круглая жаркая печка. Его жена развешивала белье на веревке в комнате, а затем давала нам винегрет с постным маслом и чай с сахарином. Он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи, а я сочинял фабулу. Он тоже. И жена подсаживалась и давала советы. Тут же я убедился, что они оба гораздо более меня способны к литературе. Но я не испытывал зависти, потому что твердо решил про себя, что эта пьеса будет последним, что я пишу...

И мы писали.

Он нежился у печки и говорил:

— Люблю творить!

Я скрежетал пером...

Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя, в нетопленой комнате, ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности — это было нечто совершенно особенное, потрясающее! Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам! На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить[51]! Порвать, сжечь... От людей скрыть. Но от самого себя — никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено!..

В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее немедленно купили за 200 тысяч. И через две недели она шла.

В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, — после того как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, — кричали:

— Ва! Подлец! Так ему и надо! И вслед за подотдельскими барышнями вызывали: «Автора!»

За кулисами пожимали руки.

— Пирикрасная пыеса!

И приглашали в аул...

...Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать отсюда. Вперед. К морю. Через море и море, и Францию — сушу — в Париж[52]!

...Косой дождь сек лицо, и, ежась в шинелишке, я бежал переулками в последний раз — домой...

...Вы — беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я! В коллективном творчестве. Писали же втроем: я, помощник поверенного и голодуха. В 21-м году, в его начале...

XIII

....

Сгинул город, у подножия гор[53]. Будь ты проклят... Цихидзири. Махинджаури. Зеленый Мыс! Магнолии цветут. Белые цветы величиной с тарелку. Бананы. Пальмы! Клянусь, сам видел: пальма из земли растет. И море непрерывно поет у гранитной глыбы. Не лгали в книгах: солнце в море погружается. Краса морская. Высота поднебесная. Скала отвесная, а на ней ползучие растения. Чаква. Цихидзири. Зеленый Мыс.

Куда я еду? Куда? На мне последняя моя рубашка. На манжетах кривые буквы. А в сердце у меня иероглифы тяжкие. И лишь один из таинственных знаков я расшифровал. Он значит: горе мне! Кто растолкует мне остальные?!

На обточенных соленой водой голышах лежу как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинает, до поздней ночи болит голова, И вот ночь — на море. Я не вижу его, только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет. И шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за темного мыса — трехъярусные огни.

«Полацкий» идет на Золотой Рог[54] ....

....

Слезы такие же соленые, как морская вода.

Видел поэта из неизвестных. Он ходил по Нури-Базару и продавал шляпу с головы, Кацо смеялись над ним.

Он стыдливо улыбался и объяснял, что не шутит. Шляпу продает потому, что у него деньги украли. Он лгал! У него давно уже не было денег. И он три дня не ел... Потом, когда мы пополам съели фунт чурека, он признался. Рассказал, что из Пензы едет в Ялту. Я чуть не засмеялся. Но вдруг вспомнил: а я?..

Чаша переполнилась. В двенадцать часов приехал «новый заведывающий».

Он вошел и заявил:

— Па иному пути пайдем! Не нады нам больше этой парнографии: «Горе от ума» и «Ревизора». Гоголи. Моголи. Свои пьесы сочиним!

Затем сел в автомобиль и уехал.

Его лицо навеки отпечаталось у меня в мозгу.

Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход. Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел пускать!..

Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так... значит... значит...

XIV. ДОМОЙ

Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег — пешком. Но домой. Жизнь погублена. Домой!..

В Москву! В Москву!!

В Москву!!!

....

Прощай, Цихидзири. Прощай, Махинджаури. Зеленый Мыс!

Часть вторая

I. МОСКОВСКАЯ БЕЗДНА. ДЮВЛАМ

Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий, всем концам конец. Больше ехать некуда. Это — Москва. М-о-с-к-в-а.

На секунду внимание долгому мощному звуку, что рождается в тьме. В мозгу жуткие раскаты:

C’estlalu-u-ttefina-a-le!

…L’Internationa-a-a-le[6]

И здесь — так же хрипло и страшно:

С Интернационалом!!

Во тьме — теплушек ряд. Смолк студенческий вагон...

Вниз, решившись наконец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже, неужели действительно бездна под ногами?..

Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли... потекли...

Женский голос:

— Ах... не могу!

Разглядел в черном тумане курсистку-медичку. Она, скорчившись, трое суток проехала рядом со мной.

— Позвольте, я возьму.

На мгновенье показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. Да сколько же тут?

— Три пуда... Утаптывали муку.

Качаясь, в искрах и зигзагах, на огни.

От них дробятся лучи. На них ползет невиданная серая змея. Стеклянный купол. Долгий, долгий гул. В глаза ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов. Тяжко упало ругательство. Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва.

Воз нагрузился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя, катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеплявшийся воз и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая. И длинное беловатое пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но выбрались наконец из путаницы колес, перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядят. О-хо-хо. Церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму.

Два часа ночи. Куда же идти ночевать? Домов-то, домов! Чего проще... В любой постучать. Пустите переночевать. Вообража-аю!

Голос медички:

— А вы куда?

— А не знаю.

— То есть как?..

...Есть добрые души на свете. Рядом, видите ли, комната квартиранта. Он еще не приехал из деревни. На одну ночь устроитесь...

— О, очень вам благодарен. Завтра я найду знакомых.

Стало немного веселее на душе. И, чудное дело, сразу, как только выяснилось, что ночь под крышей, тут вдруг почувствовалось, что три ночи не спали.

На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули в тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки!

Что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?

Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.

Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и как зачарованный уставился на слово. Ах, слово хорошо. А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! Куда ж, к черту. Ан, Москва не так страшна, как ее малютки. Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю... знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. Коротенькие подвернутые брючки. Служит. Не курит. У него большая квартира, с портьерами, уплотненная присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казенного здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор — Конан Дойль. Любимая опера — «Евгений Онегин». Сам готовит себе на примусе котлеты. Терпеть не может поверенного-коменданта и мечтает, что выселит его рано или поздно, женится и славно заживет в пяти комнатах.

Воз скрипнул, дрогнул, проехал, опять стал. Ни грозы, ни бури не повалили бессмертного гражданина Ивана Иваныча Иванова. У дома, в котором в темноте от страху показалось этажей пятнадцать, воз заметно похудел. В чернильном мраке от него к подъезду металась фигурка и шептала: «Папа, а масло?.. папа, а сало?.. папа, а белая?..»

Папа стоял во тьме и бормотал: «Сало... так, масло... так, белая, черная... так».

Затем вспышка вырвала из кромешного ада папин короткий палец, который отслюнил 20 бумажек ломовику.

Будут еще бури. Ох, большие будут бури! И все могут помереть. Но папа не умрет!

Воз превратился в огромную платформу, на которой затерялся курсисткин мешок и мой саквояж. И мы сели, свесив ноги, и уехали в темную глубь.

II. ДОМ № 4, 6-й ПОДЪЕЗД, 3-й ЭТАЖ, КВ. 50, КОМНАТА 7

В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился, именно в это колоссальное здание[55]. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем шестиэтажным зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них.

В 6-м подъезде у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная: «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба..

Толкнул незапертую, дверь. В полутемной передней огромный ящик, с бумагой и крышка от рояля. Мелькнула комната, полная женщин в дыму. Дробно застучала машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд»[56].

— Где Лито? — спросил я, облокотившись на деревянный барьер.

Женщина у барьера раздраженно повела плечами. Не знает. Другая — не знает.. Но вот темноватый коридор. Смутно, наугад. Открыл одну дверь — ванная. А на другой двери — маленький клок. Прибит косо, и край завернулся. Ли... А, слава. Богу. Да, Лито. Опять сердце. Из-за двери слышались голоса: ду-ду-ду...

Закрыл глаза на секунду и мысленно представил себе. Там. Там вот что: в первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь — вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно, кто? Лито? В Москве? Да, Горький Максим: На дне, Мать. Больше кому же? Ду-ду-ду... Разговаривают... А вдруг это Брюсов с Белым[57]?..

И я легонько стукнул в дверь. Ду-ду-ду прекратилось, и глухо: «Да!» Потом опять ду-ду-ду. Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер: хорошенькое начало карьеры — сломал! Опять постучал. «Да! Да!»

— Не могу войти! — крикнул я.

В замочной скважине прозвучал голос:

— Вверните ручку вправо, потом влево, вы нас заперли...

Вправо, влево, дверь мягко подалась, и...

III. ПОСЛЕ ГОРЬКОГО Я ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Да я не туда попал! Лито? Плетеный дачный стул. Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека. Один высокий, очень молодой в пенсне. Бросились в глаза его обмотки. Они были белые. В руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой — седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами — был в папахе, солдатской шинели. На ней не было места без дыры, и карманы висели клочьями. Обмотки серые и лакированные бальные туфли с бантами.

Потухшим взором я обвел лица, затем стены, ища двери дальше. Но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха. Tout[7]. Как-то косноязычно:

— Это... Лито?

— Да.

— Нельзя ли видеть заведующего?

Старик ласково ответил:

— Это я.

Затем взял со стола огромный лист московской газеты, отодрал от нее четвертушку, всыпал махорки, свернул козью ногу и спросил у меня:

— Нет ли спичечки?

Я машинально чиркнул спичкой, а затем под ласково-вопросительным взглядом старика достал из кармана заветную бумажку.

Старик наклонился над ней, а я в это время мучительно думал о том, кто бы он мог быть... Больше всего он походил на обритого Эмиля Золя.

Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже читал. Кончили и посмотрели на меня как-то растерянно и с уважением.

Старик:

— Так вы?..

Я ответил:

— Я хотел бы должность в Лито.

Молодой восхищенно крикнул:

— Великолепно!.. Знаете...

Подхватил старика под руку. Загудел шепотом: ду-ду-ду...

Старик повернулся на каблуках, схватил со стола ручку. А молодой сказал скороговоркой:

— Пишите заявление.

Заявление было у меня за пазухой[58]. Я подал.

Старик взмахнул ручкой. Она сделала: крак! и прыгнула, разорвав бумагу. Он ткнул ее в баночку. Но та была суха.

— Нет ли карандашика?

Я вынул карандаш, и заведующий косо написал:

«Прошу назначить секретарем Лито». Подпись.

Открыв рот, я несколько секунд смотрел на лихой росчерк.

Молодой дернул меня за рукав:

— Идите наверх, скорей, пока он не уехал! Скорей!

И я стрелой полетел наверх. Ворвался в двери, пронесся через комнату с женщинами и вошел в кабинет. В кабинете сидящий взял мою бумагу и черкнул: «Назн. секр.». Буква. Закорючка. Зевнул и сказал: вниз.

В тумане летел опять вниз. Мелькнула машинка. Не бас, а серебристое сопрано сказало: «Мейерхольд. Октябрь театра...»

Молодой бушевал вокруг старого и хохотал.

— Назначил? Прекрасно. Мы устроим! Мы все устроим!

Тут он хлопнул меня по плечу:

— Ты не унывай! Все будет.

Я не терплю фамильярности с детства и с детства же был ее жертвой. Но тут я так был раздавлен всеми событиями, что только и мог сказать расслабленно:

— Но столы... стулья... чернила, наконец!

Молодой крикнул в азарте:

— Будет! Молодец! Все будет!

И, повернувшись в сторону старика, подмигнул на меня:

— Деловой парняга. Как он это про столы сразу! Он нам все наладит!

«Назн. секр.» Господи! Лито. В Москве. Максим Горький... На дне. Шехерезада... Мать.

Молодой тряхнул мешком, расстелил на столе газету и высыпал на нее фунтов пять гороху.

— Это вам. 1/4 пайка.

IV. Я ВКЛЮЧАЮ ЛИТО

Историку литературы не забыть:

В конце 21-го года литературой в Республике занималось 3 человека: старик (драмы; он, конечно, оказался не Эмиль Золя, а незнакомый мне), молодой (помощник старика, тоже незнакомый — стихи) и я[59] (ничего не писал)..

Историку же: в Лито не было ни стульев, ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко: ничего не было.

И я. Да, я из пустоты достал конторку красного дерева, старинную. В ней я нашел старый пожелтевший золотообрезный картон со словами: «...дамы в полуоткрытых бальных платьях. Военные в сюртуках с эполетами; гражданские в мундирных фраках и лентах. Студенты в мундирах. Москва 1899 г.».

И запах нежный и сладкий. Когда-то в ящике лежал флакон дорогих французских духов. За конторкой появился стул. Чернила и бумага и, наконец, барышня, медлительная, печальная.

По моему приказу она разложила на столе стопками все, что нашлось в шкафу: брошюры о каких-то «вредителях», 12 номеров петербургской газеты, пачку зеленых и красных билетов, приглашающих на съезд губотделов. И сразу стало похоже на канцелярию. Старый и молодой пришли в восторг. Нежно похлопали меня по плечу и куда-то исчезли.

Часами мы сидели с печальной барышней. Я за конторкой, она за столом. Я читал «Трех мушкетеров» неподражаемого Дюма, которого нашел на полу в ванной, барышня сидела молча и временами тяжело и глубоко вздыхала.

Я спросил:

— Чего вы плачете?

В ответ она зарыдала и заломила руки. Потом промолвила:

— Я узнала, что я вышла замуж по ошибке за бандита.

Я не знаю, есть ли на свете штука, которой можно было бы меня изумить после двух этих лет. Но тут... тупо посмотрел на барышню...

— Не плачьте. Бывает.

И попросил рассказать.

Она, вытирая платочком слезы, рассказала, что вышла замуж за студента, сделала увеличительный снимок с его карточки, повесила в гостиной. Пришел агент, посмотрел на снимок и сказал, что это вовсе не Карасев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент.

— Мо-мент, — говорила бедная барышня и вздрагивала и утиралась.

— Удрал он? Ну и плюньте.

Однако уже три дня. И ничего. Никто не приходил. Вообще ничего. Я и барышня...

Меня осенило сегодня: Лито не включено. Над нами есть какая-то жизнь, Топают ногами. За стеной тоже что-то. То глухо затарахтят машины, то смех. Туда приходят какие-то люди с бритыми лицами. Мейерхольд феноменально популярен в этом здании, но самого его нет.

У нас же ничего. Ни бумаг. Ничего. Я решил включить Лито.

По лестнице поднималась женщина с пачкой газет. На верхней красным карандашом написано: «В Изо».

— А в Лито?

Она испуганно посмотрела и не ответила ничего. Я поднялся наверх. Подошел к барышне, сидевшей под плакатом: «Секретарь».

Выслушав меня, она испуганно посмотрела на соседку.

— А ведь верно, Лито... — сказала первая. Вторая отозвалась:

— Им, Лидочка, есть бумага.

— Почему же вы ее не прислали? — спросил я ледяным тоном.

Посмотрели они напряженно:

— Мы думали — вас нет.

Лито включено. Вторая бумага пришла сегодня сверху от барышень. Приносит женщина в платке. С книгой: распишитесь.

Написал бумагу в хозяйственный отдел: «Дайте машину». Через два дня пришел человек, пожал плечами:

— Разве вам нужна машина?

— Я думаю, что больше, чем кому бы то ни было в этом здании.

Старик отыскался. Молодой тоже. Когда старик увидел машину и когда я сказал, что ему нужно подписать бумаги, он долго смотрел на меня пристально, пожевал губами:

— В вас что-то такое есть. Нужно было бы вам похлопотать об академическом пайке.

Мы с женой бандита начали составлять требовательную ведомость на жалование. Лито зацепилось за общий ход.

Моему будущему биографу: это сделал я.

V. ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Утром в 11 вошел молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал: «Шторн»[60].

— Чем могу вам служить?

— Я хотел бы получить место в Лито.

Я развернул листок с надписью: «Штаты». В Лито полагается 18 человек. Смутно я лелеял такое распределение:

Инструктора по поэтической части:

Брюсов, Белый... и т.д.

Прозаики:

Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев, Серафимович... и т.д.

Но никто из перечисленных не являлся.

И смелой рукой я черкнул на прошении Штерна: «Пр. назн. инстр. За завед.». Буква. Завитушка.

— Идите наверх, пока он не уехал.

Потом пришел кудрявый, румяный и очень жизнерадостный поэт Скарцев.

— Идите наверх, пока он не уехал.

Из Сибири приехал необыкновенно мрачный, в очках, лет 25, сбитый так плотно, что казался медным.

— Идите наверх...

Но он ответил:

— Никуда я не пойду.

Сел в угол на сломанный, шатающийся стул, вынул четвертушку бумаги и стал что-то писать короткими строчками. По-видимому, бывалый человек.

Открылась дверь, и вошел в хорошем теплом пальто и котиковой шапке некто. Оказалось, поэт. Саша.

Старик написал магические слова. Саша осмотрел внимательно комнату, задумчиво потрогал висящий оборванный провод, заглянул в шкаф. Вздохнул.

Подсел ко мне — конфиденциально:

— Деньги будут?..

VI. МЫ РАЗВИВАЕМ ЭНЕРГИЮ

За столами не было места. Писали лозунги все и еще один новый, подвижной и шумный, в золотых очках, называвший себя — король репортеров. Король явился на другое утро после получения нами аванса, без четверти девять, со словами:

— Слушайте, говорят, тут у вас деньги давали?

И поступил на службу к нам.

История лозунгов была такова.

Сверху пришла бумага:

Предлагается Лито к 12 час. дня такого-то числа в срочном порядке представить ряд лозунгов.

Теоретически это дело должно было обстоять так: старик при моем соучастии должен был издать какой-то приказ или клич по всему пространству, где только, предполагалось, — есть писатели. Лозунги должны были посылаться со всех сторон: телеграфно, письменно и устно. Затем комиссия должна была выбрать из тысяч лозунгов лучшие и представить их к 12 час. такого-то числа. Затем я и подведомственная мне канцелярия (то есть печальная жена разбойника) [должны] составить требовательную ведомость, получить по ней и выплатить наиболее достойным за наилучшие лозунги.

Но это теория. На практике же:

1) Никакого клича кликнуть было невозможно, ибо некого было кликать. Литераторов в то время в поле зрения было: все перечисленные плюс король.

2) Исключалось первым: никакого, стало быть, наплыва лозунгов быть не могло.

3) К 12 час. дня такого-то числа лозунги представить было невозможно по той причине, что бумага пришла в 1 час 26 мин. этого самого такого-то числа.

4) Ведомость можно было и не писать, так как никакой такой графы «на лозунги» не было. Но — у старика была маленькая заветная сумма: на разъезды.

Поэтому:

а) лозунги в срочном порядке писать всем, находящимся налицо;

Ь) комиссию для рассмотрения лозунгов составить для полного ее беспристрастия также из всех находящихся налицо;

с) за лозунги уплатить по 15 тыс. за штуку, выбрав наилучшие.

Сели в 1 час 50 мин., а в 3 час. лозунги были готовы. Каждый успел выдавить из себя по 5—6 лозунгов, за исключением короля, написавшего 19 в стихах и прозе.

Комиссия была справедлива и строга.

Я — писавший лозунги — не имел ничего общего с тем мною, который принимал и критиковал лозунги.

В результате принято:

у старика — 3 лозунга.

у молодого — 3 лозунга.

у меня — 3 лозунга

и т.д. и т.д.

Словом: каждому 45 тысяч.

У-у, как дует... Вот оно, вот начинает моросить. Пирог на Трубе[61] с мясом, сырой от дождя, но вкусный до остервенения. Трубочку сахарину. 2 фунта белого хлеба.

Обогнал Шторна. Он тоже что-то жевал.

VII. НЕОЖИДАННЫЙ КОШМАР

...Клянусь, это сон!!! Что же это, колдовство, что ли?!

Сегодня я опоздал на 2 часа на службу.

Ввернул ручку, открыл, вошел и увидал: комната была пуста. Но как пуста! Не только не было столов, печальной женщины, машинки... не было даже электрических проводов. Ничего.

Значит, это был сон... Понятно... понятно.

Давно уже мне кажется, что кругом мираж. Зыбкий мираж. Там, где вчера... впрочем, черт, почему вчера?! Сто лет назад... в вечности... может быть, не было вовсе... может быть, сейчас нет?.. Канатчикова дача[62]!..

Значит, добрый старик... молодой... печальный Шторн... машинка... лозунги... не было?

Было. Я не сумасшедший. Было, черт возьми!!!

Ну, так куда же оно делось?..

Нетвердой походкой, стараясь скрыть взгляд под веками (чтобы сразу не взяли и не свезли), пошел по полутемному коридорчику. И тут окончательно убедился, что со мной

происходит что-то неладное. Во тьме над дверью, ведущей в соседнюю, освещенную комнату, загорелась огненная надпись, как в кинематографе:

«1836
МАРТА 25-ГО ЧИСЛА СЛУЧИЛОСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
НЕОБЫКНОВЕННО СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ЦИРЮЛЬНИК ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ...»

Я не стал дальше читать и в ужасе выскользнул. У барьера остановился, глубже спрятал глаза и спросил глухо:

— Скажите, вы не видели, куда делось Лито?

Раздражительная, мрачная женщина с пунцовой лентой в черных волосах ответила:

— Ах, какое Лито... Я не знаю.

Я закрыл глаза. Другой женский голос участливо сказал:

— Позвольте, это совсем не здесь. Вы не туда попали. Это на Волхонке.

Я сразу озяб. Вышел на площадку. Вытер пот со лба. Решил идти назад через всю Москву к Разумихину[63]. Забыть все. Ведь если я буду тих, смолчу, никто никогда не узнает. Буду жить на полу у Разумихина. Он не прогонит меня — душевнобольного.

Но последняя слабенькая надежда еще копошилась в сердце. И я пошел. Пошел. Это шестиэтажное здание было положительно страшно. Все пронизано продольными ходами, как муравейник, так что его все можно было пройти, из конца в конец, не выходя на улицу. Я шел по темным извилинам, временами попадал в какие-то ниши за деревянными перегородками. Горели красноватые не экономические лампочки. Встречались озабоченные люди, которые стремились куда-то. Десятки женщин сидели. Тарахтели машинки. Мелькали надписи. Финчасть. Нацмен. Попадая на светлые площадки, опять уходил в тьму. Наконец вышел на площадку, тупо посмотрел кругом. Здесь было уже какое-то другое царство... Глупо. Чем дальше я ухожу, тем меньше шансов найти заколдованное Лито. Безнадежно. Я спустился вниз и вышел на улицу. Оглянулся: оказывается, 1-й подъезд...

...Злой порыв ветра. Небо опять стало лить холодные струи. Я глубже надвигал летнюю фуражку, поднимал воротник шинели. Через несколько минут через огромные щели у самой подошвы сапоги наполнились водой. Это было облегчением. Я не тешил себя мыслью, что мне удастся добраться домой сухим. Не перепрыгивал с камешка на камешек, удлиняя свой путь, а пошел прямо по лужам.

VIII. 2-й ПОДЪЕЗД, 1-й ЭТАЖ, КВ. 23, КОМ. 40

Огненная надпись:

ЧЕПУХА СОВЕРШЕННАЯ ДЕЛАЕТСЯ НА СВЕТЕ.
ИНОГДА ВОВСЕ НЕТ НИКАКОГО ПРАВДОПОДО-
БИЯ: ВДРУГ ТОТ САМЫЙ НОС, КОТОРЫЙ РАЗЪ-
ЕЗЖАЛ В ЧИНЕ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА И НА-

ДЕЛАЛ СТОЛЬКО ШУМУ В ГОРОДЕ, ОЧУТИЛСЯ, КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО, ВНОВЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ...

Утро вечера мудренее. Это сущая правда. Когда утром я проснулся от холода и сел на диване, ероша волосы, показалось, немного яснее в голове.

Логически: все же было оно? Ну, было, конечно. Я ведь помню и какое число, и как меня зовут. Куда-то делось... Ну так, значит, нужно его найти. Ну, а как же рядом-то женщины? На Волхонке... А, вздор! У них, у этих женщин, из-под носа могут украсть что угодно. Вообще я не знаю, зачем их держат, этих женщин. Казнь египетская.

Одевшись и напившись воды, которой я запас с вечера в стакане, съел кусочек хлеба, одну картофелину и составил план.

6 подъездов по 6 этажей в каждом = 36. 36 раз по 2 квартиры — 72. 72 раза по 6 комнат — 432 комнаты. Мыслимо найти? Мыслимо. Вчера прошел без системы две-три горизонтали. Сегодня систематически я обыщу весь дом в вертикальном и горизонтальном направлении. И найду. Если только, конечно, оно не нырнуло в четвертое измерение. Если в четвертое, тогда — да. Конец.

У 2-го подъезда носом к носу — Шторн!

Боже ты мой! Родному брату...

Оказалось: вчера за час до моего прихода явился заведующий административной частью с двумя рабочими и переселил Лито во 2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, комн. 40.

На наше же место придет секция Музо.

— Зачем?!

— Я не знаю. А почему вы не пришли вчера? Старик волновался.

— Да помилуйте! Откуда же я знаю, куда вы делись? Оставили бы записку на двери.

— Да мы думали — вам скажут...

Я скрипнул зубами:

— Вы видели этих женщин? Что рядом...

Шторн сказал:

— Это верно.

IX. ПОЛНЫМ ХОДОМ

...Получив комнату, я почувствовал, что в меня влилась жизнь. В Лито ввинтили лампу. Достал ленту для машины. Потом появилась вторая барышня. «Пр. назн. делопроизв.».

Из провинции начали присылать рукописи. Затем еще одна великолепная барышня. Журналистка. Смешливая, хороший товарищ. «Пр. назн. секрет. бюро художествен. фельетонов».

Наконец, с юга молодой человек. Журналист. И ему написали последнее «Пр.». Больше мест не было. Лито было полно. И грянула работа.

X. ДЕНЬГИ! ДЕНЬГИ!

12 таблеток сахарину, и больше ничего...

...Простыня или пиджак?..

О жаловании ни слуху ни духу.

...Сегодня поднялся наверх. Барышни встретили меня очень сухо. Они почему-то терпеть не могут Лито.

— Позвольте вашу ведомость проверить.

— Зачем вам?

— Хочу посмотреть, все ли внесены.

— Обратитесь к madame Крицкой.

Madame Крицкая встала, качнула пучком седеющих волос и сказала, побледнев:

— Она затерялась.

Пауза.

— И вы молчали?

Madame Крицкая плаксиво:

— Ах, у меня голова кругом идет. Что туг делается — уму непостижимо. Семь раз писала ведомость — возвращают. Не так. Да вы все равно не получите жалованья. Там у вас в списке кто-то не проведен приказом.

Все к черту! Некрасова и воскресших алкоголиков[64]. Бросился сам. Опять коридоры. Мрак. Свет. Свет. Мрак. Мейерхольд. Личный состав. Днем лампы горят. Серая шинель. Женщина в мокрых валенках. Столы.

— Кто у нас не проведен приказом?!

Ответ:

— Ни один не проведен.

Но самое лучшее: не проведен основоположник Лито — старик! Что? И я сам не проведен?! Да что же это такое?!

— Вы, вероятно, не писали анкету?

— Я не писал? Я написал у вас 4 анкеты[65]. И лично вам дал их в руки. С теми, что я писал раньше, будет — 113 анкет.

— Значит, затерялась. Пишите наново.

Три дня так прошло. Через три дня все восстановлены в правах. Написаны новые ведомости.

Я против смертной казни. Но если madame Крицкую поведут расстреливать, я пойду смотреть. То же и барышню в котиковой шапочке. И Лидочку, помощницу делопроизводителя.

...Вон! Помелом!..

Madame Крицкая осталась с ведомостями на руках, и я торжественно заявляю: она их не двинет дальше. Я не могу понять, почему этот дьявольский пучок оказался здесь. Кто мог ей поручить работу! Тут действительно Рок[66].

Прошла неделя. Был в 5-м этаже, в 4-м подъезде. Там ставили печать. Нужна еще одна, но не могу нигде 2-й день поймать председателя тарифно-расценочной комиссии.

Простыню продал.

Денег не будет раньше чем через две недели.

Пронесся слух, что всем в здании выдадут по 500 авансом.

Слух верный. Все сидели, составляли ведомости. Четыре дня.

Я шел с ведомостями на аванс. Все достал. Все печати налицо. Но дошел до того, что, пробегая из 2-го этажа в 5-й, согнул в ярости в коридоре какой-то железный болт, торчащий из стены.

Сдал ведомости. Их пошлют в другое какое-то здание на другой конец Москвы... Там утвердят. Вернут. Тогда деньги...

Сегодня я получил деньги. Деньги!

За 10 минут до того, как идти в кассу, женщина в 1-м этаже, которая должна была поставить последнюю печать, сказала:

— Неправильно по форме. Надо задержать ведомость.

Не помню точно, что произошло. Туман.

Кажется, что я что-то болезненно выкрикнул. Вроде:

— Вы издеваетесь надо мной?

Женщина раскрыла рот:

— А-ах, вы так...

Тогда я смирился. Я смирился. Сказал, что я взволнован. Извинился. Свои слова взял обратно. Согласилась поправить красными чернилами. Черкнули: «Выдать». Закорючка.

В кассу. Волшебное слово: касса. Не верилось даже тогда, когда кассир вынул бумажки. Потом опомнился: деньги!

С момента начала составления ведомости до момента получения из кассы прошло 22 дня и 3 час.

Дома — чисто. Ни куртки. Ни простынь. Ни книг.

XI. О ТОМ, КАК НУЖНО ЕСТЬ

Заболел. Неосторожность. Сегодня ел борщ красный с мясом. Плавали золотистые маленькие диски (жир). 3 тарелки. 3 фунта за день белого хлеба. Огурцы малосольные ел. Когда наобедался, заварил чаю. С сахаром выпил 4 стакана Спать захотелось. Лег на диван и заснул...

Видел во сне, как будто я Лев Толстой в Ясной Поляне. И женат на Софье Андреевне. Я сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят:

— Пожалуйте обедать.

А я боюсь сойти. И так дурацки: чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир». А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит:

— Иди. Вегетарианский ©бед.

И вдруг я рассердился.

— Что? Вегетарианство? Послать за мясом! Битки сделать. Рюмку водки.

Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородой и укоризненно мне:

— Водку? Ай-ай-ай! Что вы, Лев Иванович?

— Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора!

Скандал какой-то произошел.

Проснулся совсем больной и разбитый. Сумерки. Где-то за стеной на гармонике играют.

Пошел к зеркалу. Вот так лицо. Рыжая борода, скулы белые, веки красные. Но это ничего, а вот глаза. Нехорошие. Опять с блеском.

Совет: берегитесь этого блеска. Как только появится, сейчас же берите взаймы деньги у буржуа (без отдачи), покупайте провизию и ешьте. Но только не наедайтесь сразу. В первый день бульон и немного белого хлеба. Постепенно, постепенно.

Сон мой мне тоже не нравится. Это скверный сон.

Пил чай опять. Вспоминал прошлую неделю. В понедельник я ел картошку с постным маслом и 1/4 фунта хлеба. Выпил два стакана чая с сахарином. Во вторник ничего не ел, выпил пять стаканов чая. В среду достал два фунта хлеба взаймы у слесаря. Чай пил, но сахарин кончился. В четверг я великолепно обедал. В два часа пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке открыла дверь.

Странное ощущение. Как будто бы десять лет назад. В три часа слышу, горничная начинает накрывать в столовой. Сидим, разговариваем (я побрился утром). Ругают большевиков и рассказывают, как они измучились. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не ухожу.

Наконец хозяйка говорит

— А может быть, вы пообедаете с нами? Или нет?

— Благодарю вас. С удовольствием.

Ели: суп с макаронами и с белым хлебом, на второе — котлеты с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем и чай с вареньем.

Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представилась картина обыска у них. Приходят. Все роют. Находят золотые монеты в кальсонах в комоде. В кладовке мука и ветчина. Забирают хозяина...

Гадость так думать, а я думал.

Кто сидит на чердаке над фельетоном голодный, не следуй примеру чистоплюя Кнута Гамсуна[67]. Иди к этим, что живут в семи комнатах, и обедай. В пятницу ел в столовке суп с картофельной котлетой, а сегодня, в субботу, получил деньги, объелся и заболел.

XII. ГРОЗА. СНЕГ

Что-то грозное начинает нависать в воздухе. У меня уже образовалось чутье. Под нашим Лито что-то начинает трещать.

Старик явился сегодня и сказал, ткнув пальцем в потолок, за которым скрываются барышни:

— Против меня интрига.

Лишь это я услыхал, немедленно подсчитал, сколько у меня осталось таблеток сахарину... На 5—6 дней.

Старик вошел шумно и радостно.

— Я разбил их интригу, — сказал он.

Лишь только он произнес это, в дверь просунулась бабья голова в платке и буркнула:

— Которые тут? Распишитесь.

Я расписался.

В бумаге было:

С такого-то числа Лито ликвидируется[68].

...Как капитан с корабля, я сошел последним. Дела — Некрасова, Воскресшего Алкоголика, Голодные сборники[69], стихи, инструкции уездным Лито приказал подшить и сдать. Потушил лампу собственноручно и вышел. И немедленно с неба повалил снег. Затем дождь. Затем не снег и не дождь, а так что-то лепило в лицо со всех сторон.

В дни сокращений и такой погоды Москва ужасна. Да-с, это было сокращение. В других квартирах страшного здания тоже кого-то высадили.

Но: мадам Крицкая, Лидочка и котиковая шапочка остались.

Комментарии. В. И. Лосев

Впервые: часть первая — «Литературное приложение» к газете «Накануне». 1922. 18 июня (с большим количеством купюр и с эпиграфом: «Плавающим, путешествующим и страждущим писателям русским», датировано 1920—1921 гг.); альманах «Возрождение». 1923. Т. 2 (с купюрами, с разночтениями в сравнении с первой публикацией в «Накануне» и большим количеством опечаток); газета «Бакинский рабочий». 1924. 1 января (в отрывках, но с разночтениями в сравнении с первыми публикациями, датирована: «Москва. 1923 г.»). Часть вторая — «Россия». 1923. № 5.

Полный текст произведения, к сожалению, пока не найден. Рукописи не сохранились.

Печатается по текстам «Литературного приложения» к газете «Накануне», альманаха «Возрождение» и газеты «Бакинский рабочий» (часть первая) и журнала «Россия» (часть вторая).

История создания «Записок» довольно подробно изложена самим автором в своих дневниковых записях, письмах и художественных произведениях. Кое-какие сведения можно почерпнуть и из других источников.

Если исходить из предположения, что «Записки на манжетах» есть не что иное, как литературно обработанные дневниковые записи писателя (особенно первая их часть), то хронология описываемых событий должна указывать и на время создания произведения. В

первой публикации «Записок» в «Накануне» автор совершенно четко датировал свое сочинение 1920—1921 гг., что и соответствует времени описываемых в «Записках» событий.

Очень важные сведения по этому вопросу предоставила в свое время И. С. Раабен — первая московская машинистка писателя, печатавшая многие его сочинения. Вот ее свидетель ство: «Я жила тогда... в доме №73 по Тверской, где сейчас метро „Маяковская"... Внизу помещался цирк. Артисты, братья Таити, печатали у меня свои куплеты. Может быть, они направили ко мне Булгакова. Первое, что мы стали с ним печатать, были „Записки на манжетах". Он приходил каждый вечер, часов в 7-8, и диктовал по два-три часа и, мне кажется, отчасти импровизировал. У него в руках были, как я помню, записные книжки, отдельные листочки, но никакой рукописи как таковой не было. Рукописи, могу точно сказать, не оставлял никогда. Писала я только под диктовку...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 128).

Несколько туманную информацию о создании «Записок» дал Булгаков в «Автобиографии», составленной в октябре 1924 г. В ней он писал: «Не при свете свечки, а при тусклой электрической лампе сочинил книгу „Записки на манжетах"». Но позже в своем интимном автобиографическом сочинении «Тайному другу» (1929) писатель так характеризовал «Записки на манжетах»: «...я сочинил нечто листа на четыре приблизительно печатных. Повесть? Да нет, это была не повесть, а так, что-то такое вроде мемуаров».

И далее Булгаков в несколько ироническом тоне рассказал историю публикации «Записок»:

«Отрывок из этого произведения искусства мне удалось напечатать в литературном приложении к „Сочельнику" (читай „Накануне". — *В.Л.*). Второй отрывок мне весьма удачно пришлось продать одному владельцу частного гастрономического магазина. Он пылал страстью к литературе и для того, чтобы иметь возможность напечатать свою новеллу... выпустил целый альманах („Возрождение". — *В. Л.*)... Авторам он заплатил. Часть деньгами, часть шпротами. Очень следует отметить, что я впервые столкнулся здесь с цензурой. У всех было все благополучно, а у меня цензура вычеркнула несколько фраз. Когда эти фразы вывалились, произведение приобрело загадочный и бессмысленный характер и, вне всяких сомнений, более контрреволюционный. Дальше заело. Сколько ни бегал по Москве с целью продать кому-нибудь кусок из моего произведения, я ничего не достиг. Кусок не прельщал никого, равно как и произведение в целом... Темные предчувствия тогда овладели мной, но быстро прошли. На выручку пришел „Сочельник". Приехавший из Берлина один из заправил этого органа (Садыкер Павел Абрамович, директор-распорядитель акционерного общества „Накануне". — *В. Л.*), человек с желтым портфелем из кожи какого-то тропического гада, прочитав написанное мной, изъявил желание напечатать полностью мое произведение.

Отделение „Сочельник", пользуясь нищетой, слякотью осени, предложило по восемь долларов за лист (шестнадцать рублей). Помню, то стыдясь за них, то изнывая в бессильной злобе, я получил кучку разноцветных, безудержно падающих советских знаков. Три месяца я ждал выхода рукописи и понял, что она не выйдет. Причина мне стала известна, над повестью повис нехороший цензурный знак. Они долго с кем-то шушукались и в Москве, и в Берлине».

О публикации второй части «Записок» в журнале «Россия» Булгаков так же красочно (и точно!) описывает в повести «Тайному другу».

«Запискам на манжетах» Булгаков придавал довольно большое значение и как литературному произведению, и как возможности просуществовать на вырученный мизерный гонорар какое-то время. Об этом свидетельствуют его дневниковые записи и письма.

Ведя переговоры с акционерным обществом «Накануне» об издании «Записок» в полном объеме, Булгаков, согласившись в целом на кабальные условия договора (от 19 апреля 1923 г.), в то же время выступил против пункта десятого, предусматривавшего право редакции сокращать текст книги по требованию цензуры. Булгаков в связи с этим писал П. А. Садыкеру 20 апреля 1923 г.: «На безоговорочное сокращение согласиться не могу. Этот § 10 необходимо

исключить или переработать совместно. Во всем остальном договор вполне приемлем мною». На чем все-таки сошлись, пока не выяснено, но полный текст «Записок» (не менее четырех листов) Булгаков передал издательству. И. С. Раабен прекрасно запомнила эту ситуацию и описала ее так: «Когда „Записки на манжетах" были закончены (надо полагать, речь идет о полном тексте. — *В. Л.*), он долго не мог их напечатать. Он приходил в отчаяние, рассказывал, что не принял никто. Потом пришел и сказал, что продал в издательство „Накануне" в Берлин».

Отдав полный текст «Записок» в «Накануне» (печально, что этот текст до сих пор не найден; к сожалению, не сохранились и его копии), Булгаков с нетерпением ждал их выхода и расстраивался по поводу задержки. Это хорошо видно из его дневниковых записей. 25 июля 1923 г.: «Дела литературные вялы. Книжка в Берлине до сих пор не вышла, пробиваюсь фельетонами в „Накануне"». 27 августа: «Книжки „Записки на манжетах" до сих пор нет». Через несколько дней, 31 августа, сообщает Ю. Л. Слезкину: «Печатание наших книг вызывает во мне раздражение, до сих пор их нет. Наконец Потехин (Ю. Н. Потехин, сотрудник газеты „Накануне", один из лидеров сменовеховцев. — *В. Л.*) сообщил, что на днях их ждет. По слухам, они уже готовы (первыми выйдут твоя и моя). Интересно, впустят ли их (то есть разрешат ли их ввезти в Россию. — *В. Л.*). За свою я весьма и весьма беспокоюсь... Корректуры они мне, конечно, и не подумали прислать...» (см.: *Булгаков М.* Дневник. Письма.1914—1940. М.,1997. С. 52, 126). Из дальнейших дневниковых записей видно, что дела с «Записками» обстояли скверно. 18 октября 1923 г.: «О „Записках на манжетах" ни слуху ни духу. По-видимому, кончено». 25 февраля 1924 г.: «„Записки на манжетах" похоронены».

По-видимому уже не надеясь на выход «Записок» в «Накануне», Булгаков стал вести переговоры с другими издательствами. Сохранилось его письмо сотруднику издательства «Недра» П. Н. Зайцеву от 25 мая 1924 г., в котором писатель не только выражает отношение к «Запискам», но и ярко раскрывает свою «житейскую» ситуацию:

«Оставляю Вам „Записки на манжетах" и убедительно прошу поскорее выяснить их судьбу.

В III части есть отрывок уже печатавшийся. Надеюсь, что это не смутит Николая Семеновича (Клестова-Ангарского Н.С., редактора издательства „Недра". — *В.Л.*). При чтении III-ей части придется переходить от напечатанных отрывков к писанным на машинке, следя за нумерацией глав.

Я был бы очень рад, если бы „Манжеты" подошли. Мне они лично нравятся.

Было бы очень хорошо, если бы Ник. Сем. срочно устроил у себя чтение „Манжет". Я сам бы прочитал их, и судьба их моментально бы выяснилась.

Себе я ничего не желаю, кроме смерти. Так хороши мои дела!

P. S. Буду Вам звонить и сам зайду сегодня и завтра».

Буквально через несколько дней Булгаков вновь пишет П. Н. Зайцеву: «Дорогой Петр Никанорович, все, как полагается, приходит сразу: лежу с припадком аппендицита... Сообщите, что с „Записками"?»... Но, увы, в «Недрах» с «Записками» ничего не получилось... Зато повезло с альманахом «Возрождение». 2 августа 1924 г. Булгаков записал в дневнике: «Лавочник Ярославцев выпустил, наконец, свой альманах „Возрождение". В нем первая часть „Записок на манжетах", сильно искаженная цензурой».

Составляя в октябре того же года свою автобиографию, Булгаков подвел черту в истории с публикацией «Записок на манжетах». Он писал: «Эту книгу у меня купило издательство „Накануне", обещало выпустить в мае 1923 г. И не выпустило вовсе. Вначале *меня это очень волновало* (выделено нами. — *В. Л.*), а потом я стал равнодушен».

Но нельзя не привести еще одну дневниковую запись писателя, относящуюся к «Запискам на манжетах». Оценивая свое участие в сменовеховской газете «Накануне», Булгаков, очень редко ошибавшийся в людях, писал 26 октября 1923 г.: «Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг „Накануне". Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго

придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собою. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь „Накануне", никогда бы не увидали света ни „Записки на манжетах", ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово...»

Это признание писателя знаменательно во многих отношениях, и прежде всего в оценке «Записок на манжетах», о которых он и впоследствии говорил, что в этом сочинении ему удалось «развернуть свои мысли». Будем надеяться, что поиски полного текста «Записок на манжетах» (в настоящее время ведутся поиски архива газеты и издательства «Накануне», где и должен сохраниться текст «Записок») увенчаются успехом и читатель в ближайшие годы сможет познакомиться с этим замечательным произведением в его полном виде.

Сноски автора

{1}

Комедия окончена! *(ит.).*

{2}

Мадам Мари. Моды и платья *(фр.).*

{3}

Липкая бумага *(англ.).*

{4}

По нарастающей *(ит.).*

{5}

Свет небес. Святая роза *(лат.).*

{6}

Это последняя битва! С Интернационалом!! *(фр.).*

{7}

Все *(фр.).*

Сноски составителя

1

Сотрудник покойного «Русского слова»... — Исследователи предполагают, что Булгаков в данном случае имел в виду Н. Н. Покровского (дипломата и журналиста, сотрудничавшего в «Русском слове»), редактировавшего в то время владикавказские газеты «Кавказ» и «Кавказская жизнь» (Булгаков входил в состав сотрудников этих газет), но активнейшим (даже ведущим) сотрудником «Русского слова» был и А. В. Амфитеатров, также участвовавший в издании владикавказских газет (попутно заметим, что А. В. Амфитеатров, находясь в эмиграции, выступал с самыми жесткими статьями в адрес «вождей пролетариата»; в самый острый момент схватки между Сталиным и Троцким Амфитеатров так характеризовал их борьбу: «Ибо для нас, опытных, дело сводится к тому, что, как говорит Иван Федорович Карамазов: — *Гад жрет другую гадину»* (Возрождение. 1927. 10 декабря). Представляет интерес вообще весь состав сотрудников владикавказских газет. Для этого мы приведем выдержку из газеты «Кавказ» (1920. №2. 16 февраля): «Газета выходит при ближайшем участии Григория Петрова, Юрия Слезкина, Евгения Венского, Н. Покровского. Сотрудники газеты: А. В. Амфитеатров, Евгений Венский, Евграф Дольский, Александр Дроздов, Григорий Петров, Н. Покровский, Юрий Слезкин, Дмитрий Цензор, Михаил Булгаков... и др. Редактор Н. Покровский».

Любопытен оптимизм редактора и сотрудников этой газеты. В статье «Счастливое начало» утверждалось: «Газета „Кавказ" выходит под счастливым предзнаменованием. На долго затученном горизонте фронта проглянули первые лучи яркого солнца победы. Взяты обратно от красных Ростов с Нахичеванью...»

Что же произошло на самом деле — известно.

Булгаков иронизирует над известной в прошлом умеренной либеральной газетой «Русское слово», выходившей в свет в 1895—1918 гг. С 1897 г. ее владельцем стал И. Д. Сытин. После первого ее закрытия большевиками газета в январе—июне 1918 г. выходила под названиями «Новое слово» и «Наше слово», а затем была прихлопнута окончательно. Газета, несомненно, сыграла свою роль в свержении самодержавия (кстати, А. В. Амфитеатров и на этом поприще потрудился «славно»).

2

...как диккенсовский Джингль... — Джингль — персонаж романа Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837), предпочитавший в общении «телеграфный стиль». Позже Булгаков прекрасно сыграл роль судьи в инсценировке «Пиквикского клуба» на сцене Художественного театра.

3

Credito Italiano — крупный банк «Итальянский кредит».

4

Что? Катастрофа?! — Так в одном возгласе Булгаков раскрывает крах белого движения на Кавказе.

5

Проклятый февральский туман! — О «февральском тумане» 1920 г. Булгаков так писал в «Необыкновенных приключениях доктора» (глава «Великий провал»): «Хаос. Станция горела. Потом несся в поезде. Швыряло последнюю теплушку... Безумие какое-то. И сюда накатилась волна... Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом...»

6

...да уж не тиф ли, чего доброго? — Из воспоминаний Т. Н. Лаппа: «Михаил работал в военном госпитале. Вскоре его отправили в Грозный... Потом его часть перебросили в Беслан. В это время он начал писать небольшие рассказы и очерки в газеты. А зимой 1920 г. он приехал из Пятигорска и сразу слег. Я обнаружила у него в рубашке насекомое. Все стало ясно — тиф. Я бегала по городу — нашла врача, который взялся лечить коллегу. Но вскоре белые стали уходить из города...»

7

...только не сейчас! Это было бы ужасно... — Конечно, при нормальных обстоятельствах Булгаков ушел бы вместе со своей частью из Владикавказа. Т. Н. Лаппа не раз рассказывала, что он ругал ее за то, что она не отправила его, больного, со своими. Но это было бы гибельно для Булгакова. Т. Н. Лаппа продолжает: «Несколько раз к нам врывались вооруженные люди, требуя доктора и предлагая для больного транспорт. Но я не позволила увезти тяжелобольного Михаила, хотя рисковала и своей и его жизнью».

8

Леса и горы... Мельников-Печерский. Скит... — П. И. Мельников-Печерский (1818—1883) в своих романах «В лесах» и «На горах» красочно описал жизнь старообрядцев в дальних скитах.

9

Взбранной Воеводе победительная!.. — Булгаков превосходно знал Евангелие и богослужебные тексты, используя их в своих произведениях. В данном случае писатель приводит начальные слова первого кондака Акафиста Пресвятой Богородице: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавлынеся от злых, благодарственная восписуем Ти рабы Твои, Богородице; но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная».

10

...монашки... васнецевские?.. — Великий русский живописец В. М. Васнецов (1848—1926) особо был дорог киевлянам как художник, возглавлявший росписи величественного Князь-Владимирского собора в Киеве. Им же были прекрасно иллюстрированы и названные книги П. И. Мельникова-Печерского.

11

— Лариса Леонтьевна... — Лариса Гаврилова, хозяйка дома, где снимали комнату Булгаковы, помогала Т. Н. Лаппа в уходе за больным.

12

Меня бросят! Бросят! — Булгаков не мог, конечно, впрямую описать весь трагизм своего положения и обозначает его отдельными фразами и возгласами. Между тем жизнь его висела на волоске, поскольку в городе его многие знали как белого офицера и корреспондента белогвардейских газет.

13

Поймите, еще вчера я должен был быть у него... — Булгаков постоянно говорит о какой-то важной встрече... Об этом же упоминала и Т. Н. Лаппа, но суть не раскрыла.

14

Тьма и сорок один и одна... — Через год Булгаков писал своему двоюродному брату Константину: «Мы расстались с тобой приблизительно год назад. Весной я заболел возвратным тифом, и он приковал меня... Чуть не издох, потом летом опять хворал». Т. Н. Лаппа: «Пришли красные войска. Михаил тяжело перенес болезнь и очень медленно поправлялся. В первое время... он не мог даже самостоятельно передвигаться. И, вооружившись палочкой, под руку со мной, преодолевал небольшие расстояния».

15

Беллетрист Юрий Слезкин... — Слезкин Юрий Львович (1885—1947), известный писатель, прогремевший еще до революции своим романом «Ольга Ор». В его дневнике, хранящемся в отделе рукописей Российской государственной библиотеки и пока не опубликованном, за исключением отрывков, есть такие примечательные слова: «С Мишей Булгаковым я знаком с зимы 1920 г. Встретились мы во Владикавказе при белых. Он был военным врачом и сотрудничал в газете в качестве корреспондента. Когда я заболел сыпным тифом, его привели ко мне в качестве доктора. Он долго не мог определить моего заболевания, а когда узнал, что у меня тиф, — испугался до того, что боялся подойти близко, и сказал, что не уверен в себе... позвали другого.

По выздоровлении я узнал, что Булгаков болен паратифом. Тотчас же, еще едва держась на ногах, пошел к нему с тем, чтобы ободрить его и что-нибудь придумать на будущее. Все это описано у Булгакова в его „Записках на манжетах"» (НИОР РГБ, ф. 801, к. 1, ед. хр. 2, л. 29-30).

Так ли это было (в деталях!), сказать трудно, ибо неизвестна на это реакция Булгакова, который не был знаком с дневником-воспоминаниями своего бывшего друга.

16

Мама! Мама! Что мы будем делать?! — Булгаков приводит слова популярной в те годы песенки, которая исполнялась и в киевском театре-кабаре «Кривой Джимми»:

— Мама! Мама! Что мы будем делать,

Когда настанут зимни холода?

— У тебя нет теплого платочка, дочка.

У меня нет зимнего пальта.

17

Подотдел искусств откроем! — В дневнике Ю. Л. Слезкина: «Белые ушли — организовался ревком, мне поручили заведование подотделом искусств. Булгакова я пригласил в качестве зав. литературной секцией».

18

...отнаробраз... — отдел народного образования.

19

И все эти мингрельцы, имери... — Мингрелы, имеретинцы, кахетинцы, картлийцы, сваны, хевсуры — грузинские народности.

20

С креста снятый, сидит в самом центре писатель... — Эта фраза в какой-то степени проясняет ситуацию с Ликоспасовым-Ликоспастовым — одним из героев «Записок покойника», прототипом которого стал благообразный Юрий Слезкин.

Любопытно, что в то время, когда Ю. Слезкин создавал во Владивавказе из «хаоса» подотдел искусств, в газете «Великая Россия» (14 июля 1920 г.) появилось следующее неприятное для него сообщение: «Газеты принесли печальное известие: во Владикавказе расстрелян за службу в осведомительном отделении беллетрист Ю. Слезкин. Здесь, на юге, это имя, пожалуй, мало что скажет читающей публике, но у нас в далеком Петрограде имя это было достаточно известно. Еще совсем молодой, лет тридцати, красивый, жизнерадостный Юрий Львович Слезкин занимал не последнее место в среде современных писателей. Незадолго до большевизма он начал издавать (будто бы предчувствуя скорую гибель свою) полное собрание своих сочинений... Трудно представить себе... что он расстрелян... Мир праху твоему. Пусть там за гробом снится тебе великий Петроград и не мучают светлую душу твою кошмары последних лет».

Напомним, что после этих «похорон» Юрий Слезкин прожил еще 27 лет. Впрочем, в то смутное время ложные сообщения о смерти тех или иных известных лиц появлялись довольно часто. Более того, о самом Булгакове такие сообщения печатались в эмигрантской прессе в конце 1920-х гг.

21

Завподиск — заведующий подотделом искусств.

22

...входил смелый, с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе. — Предположительно речь идет о К. Гатуеве (1892—1938), осетинском писателе.

23

В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. — Булгаков красочно описывает доклад редактора владикавказской газеты «Коммунист» Г. А. Астахова под названием «Пушкин и его творчество с революционной точки зрения» на вечере, состоявшемся в летнем театре 22 июня 1920 г. О содержании выступления можно судить хотя бы по такому отрывку: «И мы со спокойным сердцем бросаем в революционный огонь его полное собрание сочинений, уповая на то, что если там есть крупинки золота, то они не сгорят в общем костре с хламом, а останутся» (Театр. 1987. № 6. С. 150).

24

...вперед гляжу я без боязни»... — У Пушкина: «...гляжу вперед я без боязни...» — «Стансы» (1826).

25

И я выступил, чтоб меня черти взяли! — Булгаков выступил главным оппонентом по докладу Г. А. Астахова. Выступление его было аргументированным и страстным, уже тогда сказывалась его безудержная «сценическая кровь». Ю. Слезкин об этом событии писал так:

«Во Владикавказе нераздельно царит Маяковский. Вообще, как ни странно, Владикавказ весьма „футуристичен" во всех областях своей жизни. Устраиваются диспуты, где поносится Пушкин как „буржуазный", „контрреволюционный" писатель... Молодой беллетрист М. Булгаков „имел гражданское мужество" выступить оппонентом, но зато на другой день в „Коммунисте" его обвиняли чуть ли не в контрреволюционности» (*Слезкин Ю.* Литература в провинции. Письмо из Владикавказа // Вестник литературы. 1921. № 1. С. 14).

26

..ложная мудрость мерцает и тлеет... — Цитата из «Вакхической песни» Пушкина (1825).

27

...клевету приемли равнодушно... — Цитата из стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

28

Я — уже не завлито... Ночью позвонят — вздрагиваю. — Этот небольшой отрывок текста, видимо, оказался в этом месте по ошибке (и это не единственный случай), поскольку подотдел искусств был разогнан осенью, а Булгаков был уволен 25 ноября 1920 г. И до этого ему с женой приходилось жить в постоянном страхе (охота на бывших белых офицеров велась постоянно; Т. Н. Лаппа вспоминала: «Идем по улице, и я слышу: „Вон, белый идет. В газете ихней писал"»), но после увольнения со службы ожидание ареста стало особо мучительным. Газеты того времени выходили с огромными списками арестованных и расстрелянных «белобандитов». Действовала инструкция небезызвестного Карла Ландера — особо-уполномоченного ВЧК на Северном Кавказе, в соответствии с которой все бывшие белые офицеры подлежали немедленному аресту.

29

Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда. — Речь идет о М. Боксе, который действительно выбрал подотдел искусств и персонально Булгакова в качестве объектов для самой разнузданной травли.

30

Он там, идеже несть... — То есть Пушкин там, куда лишь воссылается молитва: «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

Но Пушкина пришлось вспоминать Булгакову еще не раз и при самых разных (чаще трагических) обстоятельствах. А в марте 1932 г., после того как усилиями Вс. Вишневского и других Ленинградский Большой драматический театр отклонил пьесу «Мольер», он писал своему другу П.С.Попову: «Когда сто лет назад командора нашего русского ордена писателей пристрелили, на теле его нашли тяжкую пистолетную рану. Когда через сто лет будут раздевать одного из потомков перед отправкой в дальний путь (идеже несть... — *В. Л.*), найдут несколько шрамов от финских ножей. И все на спине... Меняется оружие!»

31

Беллетриста Слезкина выгнали к черту. — Опять обнаруживается путаница с расположением нескольких отрывков текста. Данный отрывок и затем вся глава седьмая по времени действия должны следовать после главы девятой. Но и это еще не все. Фраза: «А этот сел на его место» — указывает на то, что за данным отрывком должен следовать текст из главы тринадцатой, начиная со слов: «Чаша переполнилась...» — и кончая фразой: «Его лицо навеки отпечаталось у меня в мозгу».

32

И опять, как жуки на булавках, будем подыхать... — См. книгу сатирика А. С. Бухова (1889—1937) «Жуки на булавках» (1915). Булгаков был с ним знаком и даже хаживал к нему

играть в шахматы. Любопытна запись в дневнике Е. С. Булгаковой от 16 августа 1937 г.: «Пошли во Всероскомдрам... Встретили там Ардова, он сказал, что арестован Бухов».

33

...светит Золотой Рог... — Бухта у европейских берегов южного входа в пролив Босфор близ Стамбула. Золотой Рог стал манящей звездой для писателя, размышлявшего о своем будущем.

34

И араки. — Местная водка-самогон, типа грузинской чачи.

35

Евреинов приехал. — Н. Н. Евреинов (1879-1953) — литератор, режиссер, теоретик и историк театра, один из создателей петербургского театра миниатюр «Кривое зеркало». В 1918 г. находился в Киеве, и не исключено, что Булгаков мог слушать его лекции. При работе над романом «Мастер и Маргарита» Булгаков использовал сочинения Н. Н. Евреинова, и чаще всего книгу «Азазел и Дионис» (Л., 1924). Вообще евреиновский стиль очень импонировал писателю.

36

Братья писатели, в вашей судьбе... — Булгаков прекрасно знал и любил поэзию Некрасова, очень часто использовал ее в своих сочинениях и даже в письмах правительству. В данном случае он вкладывает вполне определенный смысл, цитируя «неточно» стихотворение Некрасова «В больнице» (1855): «Братья писатели! в нашей судьбе // Что-то лежит роковое».

37

...у Слезкина, в насквозь прокуренной гостиной... сидел за пианино Николай Николаевич. — После того как «беллетриста Слезкина выгнали к черту» и он покинул Владикавказ, никак не мог состояться у него вечер встречи с Евреиновым (это произошло летом), что еще раз подтверждает — конец главы шестой и вся седьмая должны следовать за главой девятой.

38

...диалог между булатом и златом... — В «Музыкальных гримасах» Евреинов использовал и стихотворение (перевод анонимной французской эпиграммы) Пушкина «Золото и булат» (1827).

39

Один — из Керчи в Вологду, другой — из Вологды в Керчь. — Булгаков использует диалог Несчастливцева и Счастливцева из пьесы Островского «Лес» (1871): «— Куда и откуда? — ...из Вологды в Керчь-с, Геннадий Демьяныч. А вы-с? — ...Из Керчи в Вологду» (действие II, явл. 2).

40

Лезет взъерошенный Осип... — Почти дословно цитируется монолог Осипа, слуги Хлестакова, из комедии Гоголя «Ревизор»: «Вот не доедем, да и только, домой!» (действие II, явл. 1).

41

Рюрик Ивнев (подлинное имя — М. А. Ковалев,1891 — 1981) — поэт, писатель, автор романа о Сталине.

42

Третий — Осип Мандельштам... Из Крыма. — О. Э. Мандельштам (1891—1938) бежал из Крыма от белогвардейцев. Метался по Кавказу. Летом 1921 г. Булгаков встретился с ним в Батуме. Об этом есть короткая запись в дневнике Е. С. Булгаковой от 13 апреля 1935 г.: «Жена

Мандельштама вспоминала, как видела М. А. в Батуме лет четырнадцать назад, как он шел с мешком на плечах. Это из того периода, когда он бедствовал и продавал керосинку на базаре».

43

Беллетрист Пильняк. — Б. А. Пильняк (Вогау) (1894—1938) — известный к тому времени писатель. Булгакову не очень нравилось, когда друзья указывали ему на то, что он якобы в «Белой гвардии» пытается подражать Пильняку. Между прочим, об этом же писал в 1927 и 1929 гг. М. Осоргин в своих отзывах на первую и вторую части романа, вышедшие в указанные годы в Париже.

44

Я читал вступительную статью «О чеховском юморе». — Это было 14 октября 1920 г. Т. Н. Лаппа, не склонная в своих воспоминаниях к каким-либо преувеличениям или восторгам в отношении Булгакова, по поводу его выступлений заметила: «...он выступал перед спектаклями, рассказывал все. Но говорил он очень хорошо. Прекрасно говорил. Это я не потому, что... это другие так отзывались...»

45

«Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник. — Речь идет об инсценировках рассказов А. П. Чехова «Хирургия» (1884) и «Смерть чиновника» (1883).

46

Решили... пустить «Пушкинский вечер». — Пушкинский вечер состоялся 26 октября 1920 г.

47

И как гром его угроза. — Из стихотворения Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный» (1829), которое имело несколько редакций. В ранней редакции под названием «Легенда» было: «Lumen coeli, sancta roza! // Восклицал всех громче он, // И гнала его угроза...» В основной редакции: «Lumen coelum, sancta Roza! // Восклицал в восторге он, // И гнала его угроза...» Позже (1835) поэт переработал это стихотворение (в печати оно не появилось по цензурным соображениям) и включил в пьесу (незавершенную) «Сцены из рыцарских времен» (первая песня Франца). В «песне» этот фрагмент звучал так: «Lumen coelum, sancta roza! // Восклицал он, дик и рьян, // И как гром его угроза // Поражала мусульман». Булгаков взял первую строфу из ранней редакции стихотворения и третью строфу из «песни Франса» (из позднейшей редакции).

«Дебошир», конечно, сам по себе не был так уж страшен со своими погромными статьями. Страшен был возможный арест за белогвардейское прошлое. «Дебошир» же подводил именно к этому... Т. Н. Лаппа с ужасом вспоминала это время и считала, что они чудом спаслись: «Владикавказ же маленький городишко, там каждый каждого знает. Про Булгакова говорили: „Вон белый идет!"» О ситуации во Владикавказе осенью 1920 г. рассказывают сохранившиеся газеты того времени («Слово», «Вольный горец» и др.). В них сообщалось, что почти весь Северный Кавказ объят восстанием, во Владикавказе свирепствует ЧК, расстрелы бывших белых офицеров и «подозрительных» лиц происходят каждый день. Особо-уполномоченный ВЧК по Северному Кавказу Карл Ландер обратился к населению с требованием «в семидневный срок выдать скрывающихся офицеров и подозрительных лиц органам ЧК». В противном случае Ландер обещал развернуть «массовый террор». Этот массовый террор предполагал уничтожение тех поселений, в которых будут обнаружены белые, арест в качестве заложников всех родственников белых с последующим расстрелом и т. п. Тифлисские газеты, публиковавшие это «обращение» Карла Ландера, называли его «средневековым». Любопытно, что В. Г. Короленко, находившийся далеко от Кавказа, в своей родной Полтаве, примерно в это же время записал в дневнике: «Революция чрезвычаек сразу подвинула нас на столетия назад...»

Конечно, Булгаков выхолостил свои дневниковые записи и об ужасах того времени намекает нам символами...

48

Не хуже Кнута Гамсуна. — Булгаков сравнивает свое положение с тем голодающим литератором, о котором рассказывается в романе Кнута Гамсуна (1859—1952) «Голод» (1890). Этот роман переиздавался в России десятки раз начиная с 1892 г.

49

Я голодаю... — Из воспоминаний Т. Н. Лаппа: «...все, что осталось у меня: два золотых колечка, золотая массивная цепочка, брошки — все это пошло на рынок и в близлежащие села в обмен на продукты и топливо...»

Слезкин в это время покинул Владикавказ. Булгаков не рискнул поехать с ним в Москву, прокормить же себя и жену он мог только писательским трудом — пьесами. Слезкин позже отметит в своем дневнике-воспоминаниях: «...последнее время во Владикавказе между нами пробежала черная кошка (Булгаков переметнулся на сторону сильнейшую)».

50

С того вечера мы стали писать. — Речь идет о пьесе «Сыновья муллы». Текст ее, по иронии судьбы, сохранился и находится в архиве писателя. Во Владикавказе Булгаков поставил несколько своих работ, тексты которых, к сожалению, не сохранились (об этом см. письма Булгакова из Владикавказа своим родным за 1921 г.). В дневнике Ю. Слезкина также имеется короткая запись об этом периоде: «...во Владикавказе он (Булгаков. — *В. Л.*) поставил при моем содействии свои пьесы „Самооборона" в одном акте и „Братья Турбины" — бледный намек на теперешние „Дни Турбиных"... Все это звучало весьма слабо. Я, помнится, говорил к этой пьесе вступительное слово...»

Конечно, пьесы помогли Булгаковым продлить свое существование (физически и политически), и в словах Слезкина «Булгаков переметнулся...» была, конечно, доля правды. Но лишь доля... Ибо только «железная необходимость» заставила Булгакова писать о том, что было противно его духу. И в письме сестре Вере Афанасьевне от 26 апреля 1921 г. он так характеризовал свое творчество: «Я очень тронут и твоим и Вариным пожеланием мне в моей литературной работе. Не могу выразить, как иногда мучительно мне приходится... *Дело в том, что творчество мое разделяется резко на две части: подлинное и вымученное...»* (выделено нами. — *В. Л.*). Разумеется, к пьесам «вымученным» прежде всего относились «Сыновья муллы» и «Парижские коммунары» (в меньшей степени).

51

...правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! — Вот перед нами «первая редакция» знаменитого: «Рукописи не горят?..»

52

Вперед. К морю. Через море и море, и Францию — сушу — в Париж! — Спустя шестьдесят лет об этом же говорила и Т. Н. Лаппа: «...Булгаков стал думать, чтобы уехать. Он хотел за границу уехать, по правде сказать. Скажу прямо. Он так мечтал». Мечтания у Булгакова были разные, разными они были и на одну и ту же тему. Но мысль об эмиграции, несомненно, в нем бродила. Вот выдержки из его писем к родным: «Посылаю кой-какие вырезки и программы... Если я уеду и не увидимся — на память обо мне» (апрель 1921 г.); «В случае отсутствия известий от меня больше полугода... брось рукописи мои в печку» (май 1921 г.); «Не удивляйтесь моим скитаниям, ничего не сделаешь. Никак нельзя иначе. Ну и судьба! Ну и судьба!» (июнь 1921 г.).

53

Сгинул город у подножия гор. — 26 мая 1921 г. Булгаков выехал поездом (!) через Баку в Тифлис и 2 июня был в городе. В тот же день он написал письмо сестре Надежде в Москву, в

котором были весьма интересные намеки. «Может быть, окажусь в Крыму...» — сообщал он. А ведь исследователи рассматривают только «стамбульскую» версию, о «крымской» версии — ни слова. Между тем именно Крым, с его белогвардейской «начинкой», вполне мог привлечь внимание Булгакова.

Представляет также интерес его фраза: «„Турбиных" переделываю в большую драму». К сожалению, следов этой переделки не осталось.

54

«Полацкий» идет на Золотой Рог... — О тифлисско-батумской эпопее рассказывает Т. Н. Лаппа: «...Михаил отправился на разведку в Тифлис с намерением поставить там свою пьесу. Следом за ним приехала и я. Но работу мы никак не могли найти. И мы вынуждены были продать свои обручальные кольца, которые были куплены в Киеве у знаменитого ювелира, магазин которого находился в начале Крещатика, — Маршака. Кольца на внутренней стороне имели надписи: на одном — „Михаил Булгаков", на другом — „Татьяна Булгакова". Где-то они теперь?» Из более поздних ее воспоминаний: «...в Тифлисе... он бегал с высунутым языком. Вещи все продали, цепочку уже съели, и он решил, что поедем в Батум. Продали обручальные кольца и поехали. В Батуме мы сняли комнату где-то в центре, но денег уже почти не было. Он там тоже все пытался что-то написать, что-то куда-то пристроить, но ничего не выходило. Тогда Михаил говорит: „Я поеду за границу. Но ты не беспокойся, где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову"... Ходили на пристань, в порт он ходил, все искал кого-то, чтоб его в трюме спрятали или еще как, но тоже ничего не получалось, потому что денег не было. А еще он очень боялся, что его выдадут. Очень боялся» (Запись Л. К. Паршина). Кое-что характерное о Батуме написал и О. Мандельштам в очерке «Батум» (Правда. 1922. 3 февраля): «Механизм этого маленького, почти игрушечного городка, вознесенного условиями нашего времени на высоту русской спекулятивной Калифорнии, необычайно прост. Есть одна пружина — турецкая лира...»

55

Дом № 4... колоссальное здание. — Речь идет о здании бывшего страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре. В 1920-е гг. там находился Главполитпросвет со своими структурными отделениями.

56

...кто-то сказал: «Мейерхольд». — Булгаков резко отрицательно относился к творчеству Мейерхольда. Это прослеживается в течение почти двадцати лет (см.: Булгаков М. Дневник. Письма. 1914—1940. М., 1997; Дневник Елены Булгаковой. М., 1990).

57

А вдруг это Брюсов с Белым?.. — Первоначально восхищенное отношение к именам знаменитых писателей очень быстро сменилось у Булгакова на скептически-критическое (по разным причинам, конечно, но главным критерием была все-таки верность русским традициям в самом широком понимании этого слова). Об этом говорят и дневниковые записи Булгакова. 12 октября 1924 г.: «Сейчас хоронят В. Я. Брюсова. У Литературно-художественного института его имени на Поварской стоит толпа в колоннах. Ждут лошади с красными султанами (вспомним сцену похорон Берлиоза в „закатном романе". — В. Л). В колоннах интеллигенция и полуинтеллигенция. Много молодежи — коммунистически-рабфаковского мейерхольдовского типа». 26 января 1925 г.: «Позавчера был у П. Н. Зайцева на чтении А. Белого... Белый в черной курточке. По-моему, нестерпимо ломается и паясничает. Говорил воспоминания о Валерии Брюсове. На меня все это произвело нестерпимое впечатление. Какой-то вздор... символисты... В общем, пересыпая анекдотиками, порой занятными, долго нестерпимо говорил... о каком-то папортнике... о том, что Брюсов был „Лик" символистов, но в то же время любил гадости делать... Я ушел, не дождавшись конца. После „Брюсова" должен был быть еще отрывок из нового романа Белого. Мега».

58

Заявление было у меня за пазухой. — Сведения о работе Булгакова в Лито Главполитпросвета довольно полно сохранились в ЦГА РФ (см.: *Янгиров Р.* М. А. Булгаков — секретарь Лито Главполитпросвета // М. А. Булгаков — драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 225—245). Сохранилось и его заявление следующего содержания: «Заведующему Лито литератора Михаила Афанасьевича Булгакова Заявление Прошу о зачислении моем на должность Секретаря Лито. Михаил Булгаков». Можно предположить, что соответствующая информация о Лито была дана Булгакову его сестрой Н. А. Земской, служившей инструктором в системе Главполитпросвета с 20 марта по 1 октября 1921 г.

59

В конце 21-го года литературой в Республике занималось 3 человека: старик... молодой... и я... — Старик — А. П. Готфрид, молодой — В. С. Богатырев — фигуры в литературе незаметные. О них см.: *Янгиров Р.* С. 231—232.

60

Тихо сказал: «Шторн». — Измененная фамилия известного писателя Г. П. Шторма (1898—1978). О других сотрудниках Лито (реальных, а не предполагаемых) см.: *Янгиров Р.* С. 231-235.

61

...на Трубе... — Имеется в виду Трубная площадь.

62

Канатчикова дача!.. — Так иронически называлась психиатрическая лечебница в Канатчиково.

63

...через всю Москву к Разумихину. — Герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» Родион Раскольников после совершения им убийства неосознанно направляется к добрейшему своему другу Разумихину в надежде получить приют и утешение.

64

Все к черту! Некрасова и воскресших алкоголиков. — Материалы Лито легко проясняют эту, казалось бы, непонятную реплику Булгакова. В Республике широко отмечался столетний юбилей Некрасова. Лито готовил сборник избранных стихотворений поэта. Булгаков принимал непосредственное участие не только в подготовке сборника, но и в Юбилейной Некрасовской комиссии (27 октября он вел протокол заседания этой комиссии, где председательствовал Серафимович).

Что касается «воскресших алкоголиков», то речь здесь идет о пьесе харьковчанина В. Григоровского «Воскресший алкоголик». Самое интересное заключалось в том, что автор пьесы, как выяснилось, не понимал значения слова «алкоголик».

65

Я написал у вас 4 анкеты. — 1 октября, как сообщает Р. Янгиров, Булгаков заполнил «листок по учету кадров», который представляет несомненный интерес, особенно в ответах на «щекотливые» вопросы. А ответов на эти вопросы не оказалось: напротив них стояли прочерки. В мировой войне Булгаков не участвовал, в Гражданской — тоже, в боях вообще не принимал участия, раненым и контуженым не был. По профессии — литератор, социальное положение до 1917 г. — студент. Заслуживает нескольких восклицательных знаков его ответ на вопрос: «Ваш взгляд на современную эпоху» — *«Эпоха великой перестройки»*. Думал ли Булгаков, что его несчастная страна через несколько десятилетий вновь будет переживать «Эпоху великой перестройки».

66

Кто мог ей поручить работу! Тут действительно Рок. — В этой фразе — ключ к пониманию замысла будущей повести «Роковые яйца».

67

...голодный, не следуй примеру чистоплюя Кнута Гамсуна. — Вновь идет сопоставление с героем романа К. Гамсуна (1859—1952) «Голод» (1890). Однако настоящий голод пришел к Булгаковым после ликвидации Лито. Вот короткие дневниковые записи писателя начала 1922 г. (автографы). 25 января: «Я до сих пор без места. Питаемся с женой плохо». 9 февраля: «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем».

68

С такого-то числа Лито ликвидируется. — Приказ о расформировании Лито был подписан 23 ноября, в нем, в частности, было записано: «Тов. Булгаков считается уволенным с 1/XII с. г. с выдачей на 2 недели вперед».

69

...Голодные сборники... — Речь идет о двух сборниках, которые готовил Лито. Первый сборник «Голод» был составлен из произведений классиков русской литературы, во второй сборник «На голод» были включены работы современных писателей. Булгаков подготовил для этого сборника очерк «Муза мести», в котором рассматривалось творчество Пушкина и Некрасова с точки зрения их отношения к крестьянству. Этот своеобразный очерк еще не получил соответствующей оценки исследователей.
